БОРИС ПИЛЬНЯК

ШТОСС В ЖИЗНЬ



БОРИС ПИЛЬНЯК

ШТОСС В ЖИЗНЬ



edition neimanis

1974

Published and Distributed by
A. Neimanis Buchvertrieb G. m. b. H.
Bauerstr. 28, 8 Munich 40, Germany
Druck: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.
Printed in Germany

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«. . . и каждый день был в театре. Что за ф е а т р! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и

одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо кончать или начинать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в это время кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь головой прямо в барабан и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! о, ужас! на голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я все ждал, что будет? — » . . .

30-го декабря с Линии, из крепости Грозной, приехал в полк поручик Лермонтов, целый год ехавший из Петербурга в ссылку к тенгинцам. Полк был размещен на зимние квартиры в станице Раздольной. Квартирьер отвел Лермонтову халупу на краю станицы, предложив его казакам вернуться в сотню. Лермонтов казаков оставил при себе, отослав квартирьера. Весь день Лермонтов пробыл у себя в халупе, устраиваясь жить, развешивая по стенам ковры и раскладывая трубки.

Была зимняя слякоть, тучи каждодневно мазали собою небеса, снег падал и таял, и падал вновь, полк бездействовал, в полку было скучно, весть о приезде гусара, разжалованного в пехоту, поэта, дуэлянта и бамбошера, очень ско-

ро разошлась по офицерским квартирам, и Лермонтова поджидали в корчме, где помещалось офицерское собрание. Лермонтов в корчме не появлялся, через денщиков же узнали, что к Лермонтову приехал из Симферополя со столичными сундуками крепостной его человек, по имени Иван Вертюков, лакей по положению. Вертюков приехал в петербургской ливрее, и через окно видели, как Лермонтов с казаками и с Вертюковым, сидя на корточках, с засученными рукавами, пил чай, отдыхая от уборки. Полк был провинциален. Вечером подпрапорщик Вадбольский, влюбленный в легенды о Лермонтове, подглядывал в окошко, — казак выходил за калитку, чтобы цыкнуть на ротозея. Через окошко была видна нищая казачья

изба, выбеленная мелом. Лермонтов и его рабы бездельничали за трубками, Вертюков курил лермонтовскую трубку и брал табак из лермонтовского картуза, бородатый казак рассказывал.

Огонь в окошке погас далеко за полночь.

Наутро Лермонтов был в штабе полка и был зачислен приказом по полку — на лицо. Лермонтов явился к командиру в полной пехотной форме, командир, уездный и боевой полковник, старый уже человек, покряхтел, покрутил пуговицу лермонтовского мундира и просил поручика пожаловать в собрание на встречу нового года. Лермонтов откланялся, командир покряхтел. В полку Лермонтова знали понаслышке, знаком с ним был только офицер артилле-

рийской роты Мамацев, но Мамацева не было на месте, он должен был вернуться к вечеру, — и в офицерском собрании, в корчме, за биллиардом стало известно немногое, что — невысок, головаст, кривоног, волосы темные и на самом лбу светлая прядь, одет небрежно, а пахнет английскими духами, глаза наглые.

Приказ же о зачислении «на лицо» писарями пришивался ко Книге Приказов, где, наряду с Журналом Военных Действий, писалось, примерно, следующее:

«. . .Выйдя такого-то числа, отряд в две роты штыков, сотню казаков и в одну пушку встретил на перевале к такому-то лесу сброд чеченцев в таком-то количестве. Хищники рассеяны по степи» . . .

«. . . Выйдя такого-то числа, таким-то отрядом напали на такие-то аулы. Аулы уничтожены дотла, население бежало в горы» . . .

«. . . В сожженном ауле таком-то в плену остались одни грудные дети» . . .

«. . . Возвращаясь из экспедиции такого-то числа в таком-то составе подверглись нападению обезумевших дикарей. Чеченцы лезли на штыки, не сообразуясь с никаким смыслом, картечь их не останавливала. Противник уничтожен весь до одного. Отмечаем беспредельную храбрость офицеров таких-то» . . . ——

—— то есть, приказ о Лермонтове «на лицо» был вписан в книгу, где рассказывалось без всяких прикрас о Кавказской кампании Николая I, той кампании, которую следует по существу называть

не войною, а организованным вырезыванием людей на Кавказе, ибо война протекала «экзертициями», когда горцы, старики, дети, женщины уничтожались поголовно, их аулы выжигались и сравнивались с землей, их стада угонялись на кормежку русских солдат и в казачью степь. Понятно, почему «дикари» — «безумели». Война шла во имя покорения Кавказа — Двуглавому Белому Орлу, дабы горцы были — «покорны»!

В корчме, невесть каким образом, имелся биллиард. Офицеры понатащили туда ковров, трубок, шахмат и шашек. Вина продавал жид-маркитант. Тридцать первое декабря было серым днем с утра, затем шел снег, к вечеру стало морозить и облака ушли на Кубань. Было скучно, офицеры предпочи-

тали с утра сидеть в собрании. По правилам фронтовой жизни строгости формы не соблюдались, — одевались, как вздумается, одни в артикульной форме, другие в черкесках, третьи в вышитых матерями и невестами рубашках, — играли на биллиарде, курили, валялись на диванах, рассказывали всяческие истории. Собрание по существу было общежитием. Император Николай в золоченой раме величествовал со стены. Неожиданно и очень ненадолго приходил Лермонтов, — он перещеголял небрежность одежды, — пришел в бурке, в папахе, их оставил на руках Вертюкова в лакейской, в буфетную вошел в старых гусарских рейтузах и в красной канаусовой рубахе, подпоясанной черкесским, с серебряным набором, ремешком.

Откланялся офицерам, ни к кому не подошел, прошел в буфетную, заказал обед и вместо вина пил молоко, тяжестью глаз своих давя тарелки, ни разу не подняв их на подпрапорщика князя Вадбольского, который сидел против Лермонтова с бутылкой кахетинского. Лермонтов ушел сейчас же после обеда, Вертюков следовал на шаг сзади него, тараща по сторонам глаза.

В корчме притихло, пока там был Лермонтов, но когда он ушел, никто ни словом не помянул его. Капитан Арапов в диванной закурил новую трубку и стал продолжать рассказ, как однажды гусары выиграли казначейшу. Юнкер Мещерский спросил:

— Арапов, ты помнишь, где это было?

— В Тамбове, — ответил Арапов.

— Жорж, так эта история описана поручиком Лермонтовым!

Было чистейшей случайностью, что лермонтовская «Казначейша» всплыла в памяти Арапова в день приезда Лермонтова. Арапов круто переменил тему: стал рассказывать, как при усмирении поляков гулялось с паненками.

К вечеру приехал Мамацев, и Мамацев сейчас же пошел к Лермонтову. Они поцеловались, они сели на диван рядом, рука в руку, Ванюшка Вертюков принес свежую бутылку рому. Они вспоминали Пятигорск, госпожу Гоммер де-Гэлль, Нину Реброву, водяное общество и водяные куры. За этими разговорами они пришли в собрание, Лермонтов был в сюртуке без эполет.

В собрании Мамацев возвестил:

— Михаил Юрьевич Лермóнтов, новый наш товарищ, душа общества и укротитель дам! Охулки на... не кладет и банк мечет до последних брюк!

Офицеры решили, что Мамацев пьян. Командир полка, полковник Хлюпин, взял Лермонтова под руку, повел представлять по чинам. Лермонтов был любезен и весел.

— До полночи, батенька, не дам ни рюмки, — говорил командир, — как хотите, если душа не терпит, бегайте к жиду на кухню. В полночь выпьем здравие государя императора, за воинство и за тенгинцев, и тогда — как хотите!

Лермонтов и Мамацев сели играть в шахматы, но партии кончить не удалось. Стол окружили офицеры. В гостиной,

готовясь к полночи, варили жженку и, как всегда бывает в таких случаях, не умели варить как следует, — призвали Лермонтова. Лермонтов снял сюртук. Штаб-офицеры сели за большой шлем, молодежь сломала колоды для штосса. Лермонтов, с засученными рукавами и с половником в руке, поставил карту, ее убили, он бросил золотой, отыграл, вернулся к жженке.

— Господа, — сказал князь Мещерский. — Сегодня святки, на севере, в России, у нас в усадьбах, в Москве, в Петербурге, по всей России сейчас в каждом доме — собрались наши сестры, невесты, любовницы и все гадают и рассказывают святочные истории... Вадбольский, я уверен, что сейчас какая-нибудь Мэри или Китти, или попросту

горничная Дашка, вздыхает по вас, забившись куда-нибудь под шубы и чихая от нюхательного табака... И за воротами спрашивают, как будут звать их жениха, а на самом деле думают о вас, князь Вадбольский!.. Попросим Лермонтова рассказать нам какую-нибудь святочную историю. Попросим, чтобы он придумал, чем и как нам погадать!

Лермонтов — рассказать историю — согласился охотно. Он сходил к столу, взял карту, карту били.

— На счастье! — сказал Лермонтов и вернулся к жженке. — Я вам расскажу странную историю, — заговорил он. — В Петербурге эта история хорошо известна. В Петербурге проживал художник Лугин, человек, принятый в большом свете и большой чудак. Светские

забавы ему были чужды. Он только что вернулся из Европы, где осматривал мастеров живописи. Петербургские туманы заразили его сплином, аглицкой болезнью. И во сне и наяву ему стал неведомый голос твердить адрес: в Столярном переулке у Кукушкина моста, дом титулярного советника Штосса, — заметьте, мы играем сейчас в штосс! — квартира нумер двадцать семь. И так ежечасно. Лугин никогда не слыхал даже о Кукушкином мосте. Наконец, он решил разыскать квартиру нумер двадцать семь. Адрес, пригрезившийся во сне, оказался действительностью. Плешивый дворник сказал, что дом только на днях перешел к титулярному советнику Штоссу, а раньше принадлежал купцу Кифейкину, который разорился.

Лугин был удивлен. Дворник рассказал, что квартира нумер двадцать семь — недобрая квартира, никто в ней не живет, а которые жильцы переезжали — все разорялись. Лугин осмотрел квартиру. Квартира была запущена, с пыльной мебелью, некогда позолоченною, со скрипящими сосновыми полами, в обоях, на которых по зеленому грунту нарисованы были красные попугаи и золотые лиры. Висели на стенах портреты. И один портрет поразил Лугина. Это был человек заполдневных лет, в халате, с табакеркою в руке, с перстнями на пальцах. Портрет был плох, казалось, он написан ученической кистью, — но в выражении лица, особенно губ, дышала невыразимая жизнь. Губы были насмешливы, ласковы, злы и грустны одновременно.

Портрет был зловещ и разителен, и он был неизъяснимым. Лугин снял эту квартиру ради этого портрета и ради вести о том, что здесь живет нечто недоброе. Не принадлежа уже своей воле, он послал людей в трактир Донона, где стоял, за вещами, и к вечеру расположился в новом своем кабинете, расставив по местам свои холсты. Надо заметить, что на самое видное место он положил папку незаконченных карандашных и акварельных рисунков, на которых было рисовано одно и то же лицо, эскиз женской головки. У каждого человека есть идеал женской красоты, которую каждый человек ищет до конца своих дней, — это были наброски фантазии художника, его мечта, его видение... Непостижимая лень охватила художника,

кисти валились из его рук. Свечи на столе и в канделябрах закачали свет свой и стали чадить. Приближалась полночь. И вдруг тогда за окном заиграла шарманка, она заиграла незнакомый старинный немецкий вальс. Эта музыка в полночь была необыкновенна. Старик лакей вошел в кабинет оправить свечи. «Ты слышишь музыку?» — спросил Лугин. «Никак нет, сударь!» — ответил Никита. «Пошел вон, дурак!» — молвил бессильно Лугин. Музыка продолжалась и необыкновенное беспокойство овладело Лугиным, ему хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Все жизненные силы напряглись в нем, он сразу вспомнил всю свою жизнь. Облик той девы, которую он видел в грезах и ради которой жил, наклонился над ним.

Лугин впал в транс. Шорох шлепающих туфель привел его в память. Он поднял голову. Страшного портрета не было на стене. В доме была могильная тишина. Тогда скрипнули половицы, пропела дверь, и в комнату, со свечею в руке, в халате, в ночных туфлях — вошел — тот самый старик, который был изображен на портрете . . . Но не это было главное! — вослед за стариком, во плоти, опустив глаза, в подвенечном платье, — шла та дева, образ которой навсегда мучил своею божественностью воображение художника. Его мечта, его смысл жизни, — она была во плоти . . . И поэт не заметил старика, шлепающего к нему туфлями, он весь был поглощен видением любви, которая была выше жизни. Дыхание погреба повеяло на Лугина от

старика — музыка рая неслась от девы. Старик поставил на стол свечу и положил новые колоды карт. «Позвольте представиться, — сказал старик, — титулярный советник Штосс!» — «Хорошо, — сказал Лугин, — мы будем играть на жизнь!» — «Што-с?» — спросил титулярный советник. «Прошу без шуток! — вскричал Лугин, — мы играем на жизнь и на красоту!» — «Не угодно ли, я вам промечу штосс? — ответил старик, делая вид, что он не слышит, и положил на стол клюнгер. — Я играю только на деньги» . . .

Лермонтова перебили.

— Господа офицеры, через десять минут полночь! Прошу за столы! — крикнул полковник Хлюпин. — Поручик, вы успеете еще дорассказать вашу

страшную историю. Долг требует выпить здоровье его величества!

Офицеры двинулись к столам. Лермонтов остановил понтера, спросил:

— Что же, еще карту? — Старик научил нас не ставить на карту желаний и дев. Я ставлю золотой.

Лермонтов проиграл, вернулся к жженке. Его помощники суетились, он был задумчив. Офицеры уходили из диванной вслед за командиром. В комнате стало тихо. К запаху табака примешался запах жженого сахара, сахар горел, облитый коньяком, синие огни бегали, как гномы. Шум перешел в соседнюю комнату, в буфетную. Синие гномы бегали по сладости сахара. Вестовые тушили свечи. Несколько офицеров обступило Лермонтова.

— Михаил Юрьевич, — сказал Мещерский, — конечно, это ваше новое творение. Во второй раз вы возвращаетесь к теме карточного выигрыша женщины. Первый раз это было в тонах реализма, именно в «Казначейше». Прошу вас, продолжайте рассказ ваш. Старик мистичен, — тем не менее, он играет только на деньги . . .

У Лермонтова были тяжелые глаза. Он был низкоросл, и все же казалось, что он на людей смотрит сверху вниз, и он не умел глядеть в глаза людей — именно потому, что он был низкоросл. Лермонтов обратился к Вадбольскому:

— Знаете, прапорщик, в вашем возрасте я выигрывал женщин без карт.

Вадбольский не понял, Мещерский

покраснел, как принято краснеть девицам. Молвил Мамацев:

— Полно, Мишэль, продолжай свой рассказ. Скоро полночь.

Лермонтов ответил не сразу, очень серьезно — так серьезно, что серьезность можно было принять за пародию.

— Нечего продолжать, полковник перебил меня на месте, — сказал Лермонтов тихо, — я все уже кончил. Лугин хотел играть на жизнь, ибо его мечта о деве стоила жизни, — он хотел, чтоб старик поставил на карту эту деву. Старик поставил клюнгер. Мистические силы — и те играют на деньги, скушно... А вы правы, Мещерский, — я никогда не думал о совпадении Казначейши со Штоссом, — это совершенно не случайно, — Лермонтов помолчал. — Вы гово-

рили, что горничная Дашка ждет Вадбольского, Мещерский, — вы свалили с больной головы на здоровую, не так ли? . .

Стенные часы стали бить полночь. Офицеры побежали в буфетную к столу. Пили здоровье государя императора Николая Павловича. Офицеры кричали ура, — и по тому, как они кричали, можно было с уверенностью заключить, что пьяны были офицеры задолго до полночи. Вскоре тосты спутались, пили и приветствовали каждый по своему усмотрению, на свой салтык. Тогда молодежь стала требовать тоста от Лермонтова. Притащили грузинский рог, выбрали тамаду. Тамада передал рог Лермонтову. Круг офицеров затих, одни в безразличии, другие в недовольстве, третьи в

восхищении. Соседи Лермонтова вышли из-за стола. Офицеры на конце стола встали на стулья. Лермонтов был бледен и опять очень серьезен тою серьезностью, которую можно принять за пародию, в руке у него был рог, полный кахетинского. Настала тишина.

— Господа офицеры! — крикнул Лермонтов, и добавил очень тихо: — Я пью — за смерть!..

Не все расслышали, слово *смертъ* прошелестело объяснением. Лермонтов пил рог, полуприкрыв глаза. Рог, в котором было несколько бутылок вина, Лермонтов пил не отрываясь. Офицеры не нарушали тишины. Вены на висках Лермонтова надулись, но лицо бледнело. Лермонтов опустил пустой рог и опустился к столу.

— В чем дело, поручик? — спросил командир. — Что за странные шутки!

— Это очень серьезно, господин полковник, — ответил Лермонтов, подняв тяжелые веки. — Покойной ночи, господа офицеры, нового счастья!

Лермонтов поднялся со стула и пошел к двери, офицеры расступились, Вертюков подал бурку и упал, потеряв равновесие, к ногам Лермонтова. Лермонтов вышел не поднимая глаз, Вертюков малость полз на четвереньках, затем стал на ноги. Мамацев вышел вслед за Лермонтовым.

На улице подмерзло и светили звезды, воздух был свеж и колок. Лермонтов шел быстро, кривоногий человек. Мамацев догнал его, пошли рядом. Светила в небе громадная луна. Лермонтов

остановился на перекрестке, поджидал ползущего Вертюкова, смотрел вдаль, улыбнулся луне и стал вновь серьезен. Вертюков сидел на снегу.

— Видишь, — сказал Лермонтов Мамацеву, — вон в том месте Эльборус, — видишь, там под луной блестят его ледники, — Лермонтов стал торжественен.

— Это я вижу первый раз, Эльборус ночью.

— Да там ничего и не видно, — ответил Мамацев.

— Смотри! — Лермонтов указал сторону, где вдали под луною должны были быть ледники Хребта, вечное покойствие. Там был мрак. Выли в станице собаки. Лермонтов долго смотрел во тьму пространства.

— Мишэль, — заговорил Мамацев. —

Почему такой странный тост, за смерть?

— Это очень серьезно. Конечно — смерть! — единственное реалистичное. Умрет старик командир, умрем мы, умирают наши любовницы. А мы, солдаты, прямо к тому и существуем, чтобы умирать.

— Но ты сегодня же говорил иначе, вспоминая Жанну. Мне говорили, будто бы ты скакал на тележке в Крым, чтобы догнать ее . . .

Лермонтов ответил не сразу.

— Что же, и м-м Гоммер де-Гэлль тоже умрет, — а Эльборус останется.

— Ты действительно ездил к ней?

Лермонтов не ответил. Офицеры двинулись к дому Лермонтова.

— У меня был случай в жизни, — заговорил Лермонтов. — Даже смерть

есть так же пустяки!.. — Ванюшка, нализался, сукин сын! — обратился он к денщику. — Ползи вперед, зажги свечу, согрей чаю, — да не спали спьяна избы, подлец!... — Это было в Тифлисе. Я шел в баню и встретил красавицу-грузинку. Я пошел за ней, на углу она поманила меня. Я позвал ее в номер. Она пошла вперед, и вскоре вернулась, опять поманив меня. Она сказала, что суббота, бани полны и невозможно пройти туда незамеченным. Я позвал ее к себе, она отказалась. Я ее не пускал, она была прелестна. Тогда она сказала, что соглашается..., она сама найдет место, — только, чтоб я поклялся сделать, что она велит. Я поклялся. Я пошел за ней в туземный квартал. Она приняла меня на коврах и мутаках, она была упоитель-

на. Тогда она потребовала выполнения клятвы. Она просила меня вынести труп. Мне стало страшно. Она повела меня по темной лестнице куда-то вниз, в подвал дома. Там, завернутый в татарский саван, лежал мертвец. Я и не подозревал, что я предаюсь объятиям в доме, где лежал труп. Она поцеловала меня, толкая к мертвецу. Мне стало дурно, но я поднял мертвеца и поволок его в сад. Она мне помогала. Мы пошли закоулками, остерегаясь прохожих. Отдыхая, мы целовались. Я бросил труп в Куру, сняв с него незаметно кинжал. Я обернулся. Женщина исчезла. Я пошел искать ее дом и ничего не нашел. Мне сделалось совсем дурно. Я пришел в сознание только наутро на гауптвахте, куда меня отнесли дозорные. Кинжал

мертвеца был при мне. Я посвятил в тайну моих товарищей. Мы отправились на розыски. Мы не смогли найти дома. Тогда мы пошли с кинжалом к Геургу, оружейному мастеру, потому что кинжал был его работы. Геург сказал, что он сделал этот кинжал русскому офицеру. Мы приказали Ахмету найти следы этого офицера. Ахмет разыскал денщика, нам стало известно имя. Денщик сказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, а затем пропал без вести. Денщик повел нас к дому, где жила старуха, этого дома я не знал, в доме никто не жил. Мы ничего не нашли. Я мечтал встретить мою грузинку. И я ее встретил. Я шел ночью по караван-сараю и увидел ее с грузином. Она узнала меня, она подала мне незаметный

знак, чтобы я не узнавал ее и шел за нею. Я пошел следом. Они вышли к Куре, прошли на мост около Метехского замка. Я шел за ними. Вдруг оба они возникли передо мною. Он спросил, как меня зовут, — я ответил. Он крикнул, как смею я волочиться за его женой. У нее в руке был кинжал, она была прекрасна. Я понял, что кинжал этот приготовлен для груди грузина. Он схватил меня за плечи, чтобы столкнуть в Куру, но у меня наготове был стилет — и грузин пал в Куру замертво. Я обернулся, чтобы поцеловать грузинку. Ее кинжал занесся над моим сердцем. Я не успел ее поцеловать, — она последовала в Куру за мужем . . . Она была прекрасна! — Лермонтов замолчал. — Что же, три смерти . . . Я рассказываю теперь об этом

спокойно... А однажды в атаке я неловко ударил чеченца саблей. Я рассек ему глаз, скулу и губы, конец сабли застрял в зубах. Я никогда не забуду его лица. Здоровый его глаз метался белком. Он извергал мольбы Аллаху и русские ругательства, и изо рта сыпались зубы, и у него было четыре кровавых губы.

— Но ты ничего не говоришь о м-м Жанне Гоммер де-Гэлль! — сказал Мамацев, совершенно пьяный.

Лермонтов и Мамацев стояли у калитки. Лермонтов молчал.

Светила полная луна. Замерзший снег блестел морозом. Вдалеке под луной покойствовал, величествовал Хребет, Эльборус, — но Хребта не было видно в ночи со станицы Раздольная. Мамацев предложил послать за кахетинским,

— Лермонтов хотел чаю. Товарищи простились. Лермонтов долго следил за луной. Лицо его было печально. На глазах его были слезы. В халупе он сел к столу, к свечам, и долго сидел у стола, с бумагами. Вернувшийся вчера Ванюшка Вертюков привез письма из Петербурга, от друзей, от бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Вяземский присылал книгу «Современника» со статьей Белинского о «Герое нашего времени». Бабушка рассказывала светские новости, ожидала внука в Петербург, к масленой, пересылала бумагу старосты Степана насчет продажи крепостных людей, чтобы внук засвидетельствовал в полковой канцелярии руку. Лермонтов долго сидел над бумагами и книгами.

Так Лермонтов встретил 1841 год, последний год своей жизни.

. . . .

Мамацев же тою ночью под первое января 1841 года не ложился спать, прокутив всю ночь. Он вернулся в корчму, где допивали дебоширы. Было совершенно пьяно. Тела валялись по диванам и по полу. На биллиарде спал капитан Кочубей, в изголовье его горели три свечи. На груди его метали банк. Играли в штосс. Понтеры сидели и висели на биллиарде. В буфетной допивали и пели. Мамацев догонял собутыльников в водке и он рассказывал истории Лермонтова. Офицеры слушали без послесловий. Ссылки в связи со стихами на смерть Пушкина и за дуэль с де-Барантом были общеизвестны. Мамацев рас-

сказал о Жанне Гоммер де-Гэлль, этой прекрасной француженке. В окна корчмы ползли синие мертвецы рассвета. Мамацев сидел на биллиарде, рассказывая. Штосс был забыт. В золотой раме на стене поблескивали масляные краски императора Николая.

— Это была обольстительная женщина, француженка, жена французского путешественника и ученого, сама путешественница и поэтесса, воспетая Альфредом Мюссэ. С мужем она исколесила всю Азию и судьба ее занесла на воды. Лермонтов вернулся из экспедиции в Малую Чечню, где крошил хищников, и поселился в Пятигорске. Водяное общество было блестяще. Мадам де-Гэлль была окружена эскортом поклонников. В галерее каждодневно гре-

мела музыка и были балы. В грот Дианы невозможно было ходить, потому что он перестал быть местом уединения, став отдельным кабинетом золотой молодежи. Ежедневно кавалькады уезжали на Машук и к подножию Бештау. Лермонтов был всюду. Лермонтов устраивал пирушки в гроте, заливая его шампанским. Лермонтов волочился сразу за тремя дамами, за де-Гэлль, за Ребровой и за петербургской франтихой, забыл как звали, рыжая красавица. Мадам де-Гэлль, не стесняясь, при всех называла Лермонтова Прометеем, прикованным к горам Кавказа, намекая на его ссылку. Мадемуазель Реброва была влюблена без памяти. Франтиха ездила с Лермонтовым наедине в горы. Лермонтов вел свои куры при всех сразу. Однажды вся

компания переехала в Кисловодск, там был грандиозный бал в честь их высочеств, в закрытой галерее. Де-Гэлль и Реброва остановились в одном доме. Лермонтов провожал Реброву и де-Гэлль. Он был блистателен. Реброва — очень оживлена. Тогда Лермонтов во всеуслышание сказал ей, что он не любит ее и никогда не любил. С Ребровой — истерика. Лермонтов, все же, проводил ее домой и, уходя, оставил у нее свою фуражку. В два часа ночи видели, как Лермонтов стучал в окно спальни мадам де-Гэлль. Окно отворилось, и Лермонтов исчез в нем, махнув фуражкой. Ставня закрылась за Лермонтовым... Но в пять часов утра, уже на рассвете, Лермонтова видели совсем на другой улице: он спускался на простынях с террасы того до-

ма, где жила петербургская франтиха. Он был без фуражки. Наутро стало известно, что Лермонтов оставил за ночь три своих фуражки в трех разных домах, у Ребровой, у де-Гэлль и у франтихи, имея три ночных рандеву. Но Лермонтов не удовлетворился этим. Утром Лермонтов проезжал мимо окон Ребровой и де-Гэлль, — он ехал верхом рядом с франтихой, и на голове франтихи была — фуражка Лермонтова! .. Франтиха не понимала, что она всенародно компрометирует себя этой фуражкой, похожей на диогенов фонарь среди бела дня. Мадемуазель Реброва слегла в постель. Мадам де-Гэлль отослала с лакеем фуражку и отказала Лермонтову от дома. Франтиха, считавшая себя победительницей, к вечеру, вернувшись с прогул-

ки, узнала, каким чучелом нарядил ее Лермонтов, когда она, по своей же воле, надела его фуражку, — и на следующее утро она выехала с вод в Петербург, потеряв весь свой престиж, совершенно скомпрометированная . . . Лермонтов был счастлив! . .

В корчму шли мертвецы рассвета. Мамацев рассказывал с упоением. Штосс был забыт. Капитан Кочубей спал на биллиарде, в головах у него горели три ненужные свечи, грудь его была завалена картами. В золоте рамы на стене величествовал в белых лосинах император Николай, величественно смотрел перед собою. В буфетной выстрелами из пистолетов стали тушить свечи. Кочубей вскочил от выстрелов, с него посыпались карты. Карты собрали

для штосса. Император Николай благословил со стены. За окнами рассвело. За станицей, где стоял на зимних квартирах полк, лежала степь. Вдали был виден Хребет, солнце окрасило вечные льды. Хребет покойствовал вечным величием. Там в горах жили люди, с которыми воевал царь Николай — разорением, насилием, огнем, уничтожением, вырезывая племя за племенем.

Горы были к югу от станицы.

К северу лежала — Россия — —

. . . .

Мамацев рассказал истину о м-м Гоммер де-Гэлль. В старых французских архивах есть письма м-м Гоммер де-Гэлль, этой необыкновенной женщины, которой посвящал свои стихи Альфред де-Мюссэ и которая — действи-

тельно считала Лермонтова — Прометеем, прикованным к горам Кавказа, величайшим поэтом России. И действительно Лермонтов скакал по октябрьским степным грязям две тысячи верст на телеге, без разрешения начальства, вопреки стихиям, чтобы пробыть несколько часов около Жанны де-Гэлль. Вот желтые листки ее писем:

«. . . Тэбу де-Мариньи доставил нас на своей яхте в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо идешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раскинутых скал. Тэбу показал себя опытным моряком. Он поместил меня в Мисхоре, на даче Нарышкиной. Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре и поправляет свои стихи.

Я ему сказала, что он в них должен непременно помянуть места, сделавшиеся нам дорогими. Я, между тем, пишу мое письмо к тебе. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе! Не подумай чего дурного. Мы оба поэты. Он сблизился со мною за четыре дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за рыжей франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала пробовать счастья на кавказских водах. Они меня измучили, и я выехал из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но не надолго. Мне жаль Лермонтова: он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петра Великого. А Лермонтов великий поэт. Он

описал наше первое свидание очень мелодичными стихами. Он сам на себя клевещет: я редко встречала более влюбленого человека»...

. . . .

«...Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей компании. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Ламбат. Мы приютились в биллиардном павильоне, принадлежащем по-видимому генералу Бороздину, к которому мы ехали. Киоск стоял одинок и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли биллиард с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю русскую партию. Мне казалось,

что наша игра гораздо значительней, чем просто игра в биллиард, и это была русская игра... Мы дали слово друг другу предпринять на яхте 'Юлия' путешествие на кавказский берег к немирным черкесам... Я всегда любила то, чего не ожидаешь...»

Тэбу де-Мариньи, владетель военной шхуны «Юлия», был французским генеральным консулом в России. Лермонтов приезжал в Крым, чтобы пробыть несколько часов с Жанной Гоммер де-Гэлль. Лермонтов играл с м-м Гоммер де-Гэлль в биллиард — в грозе, в зеленой роще — в предпоследнюю с ней встречу. Тэбу де-Мариньи собирался ехать вслед Лермонтову на Кавказ, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Это был солнечный крымский октябрь.

Жанна Гоммер де-Гэлль была солнечной женщиной, эта женщина, которая любила Лермонтова, человека и поэта, потому что она была н е русской, и любила так, как никто его никогда не любил. Она писала: «мы дали слово друг другу предпринять на яхте 'Юлия' путешествие на кавказский берег к немирным черкесам». Лермонтов вернулся к своим отрядам, Жанна ушла в синь Черного моря. Тэбу де-Мариньи встретил ее на своей шхуне — пушечным салютом. Шхуна ушла в синее море, Лермонтов . . .

. . . К северу от Крыма, от Кавказа — лежала — великая! — Россия! . . .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

И еще был новый год — 1840-й. Его встречали в Пятигорске в доме наказного атамана кавказских казачьих войск генерала Верзилина, в том доме, который впоследствии перешел к Акиму Александровичу Шан-Гирею, двоюродному брату Лермонтова, и в котором, 13 июля 1841 года Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Генерал Верзилин был начальством, хлебосолом и отцом — как своих дочерей, так и падче-

рицы Эмилии Клинкенберг, впоследствии Шан-Гирей. Старшая дочь Верзилина, Аграфена Петровна, вышла замуж за Василия Николаевича Дикова, у Лермонтова сохранилась строфа, посвященная Аграфене и Василию:

«...А у Груши целый век
Только дикий человек!..»

Эмилия Александровна Клинкенберг рождена была лютеранкой и впоследствии перекрещена в православие. Так как имени — Эмилия — в православных святцах нет, она была названа Меланией. В доме продолжали называть ее Эмилией, но день ангела справляли 31 декабря, в день Мелании.

31 декабря, в ночь под сороковой год, у Верзилиных были именины и новогодний бал. И на этом бале Василий Нико-

лаевич Диков, тогда еще жених Аграфены, «Грушин век», подарил Эмилии Александровне — серебряный кавказский стаканчик, черненый, позолоченный. Пятигорский чеченец гравер начертал на дне стакана:

Въ. День. Ангила.

Э. 1840. К.

ВД.

Стакан, по существу говоря, был провинциален и беден. На бале, в полночь, из этого стакана пригубливала красное кахетинское — Эмилия Александровна, и все, бывшие на бале, рассматривали подарок Дикова.

. . . .

Рассказ повторяется. В дневнике Печорина от 26 июня записано:

«Вчера приехал сюда фокусник А п -

фельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление» . . .

Это было в Кисловодске. Печорин записывает:

«Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

'Сегодня, в десятом часу вечера, приходи ко мне по большой лестнице: муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя; приходи непременно'».

Печорин только на минуту заходил смотреть фокусника. Он не видел фокусов. Ночью он был у княгини Лиговской. Этою же ночью он оказался под окном княжны Мэри. Там он подрался с Грушницким и с драгунским капитаном, секундантом Грушницкого, получившим от Печорина в рожу. Эта ночь была окончательным поводом дуэли между Печориным и Грушницким. Наутро у нарзанного колодца утверждали, что Печорин имел ночное рандеву с княжной Мэри. Печорин записал о той ночи, когда он на шалях спускался из окошка княгини Веры:

«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах и, разумеется, ничего не нашли.

Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников осталось бы на месте».

Рассказ повторился Жанною Гоммер де-Гэлль. Прошло почти — столетье. Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

. . . .

Лермонтов не послал Печорина к фокуснику Апфельбауму, герой м-м Гоммер де-Гэлль. Но я был на Минеральных Группах — в положении фокусника. Меня купило управление Кавминвод — кавказских минеральных вод, — чтобы я читал лекции, показывал себя и составлял «общество», — и я погружался

в пошлость минеральных вод. На рассвете в Москве меня взял аэроплан, — в закате дня я сошел с самолета на станции Минеральные Воды. Через сто лет самолет будет дормезом, сейчас он величествен — лермонтовски, ибо в стихиях самолет мерит себя и свою волю — только стихиями, — и мерит — только смертью: человеку на самолете гордо — за человека, за человеческого демона, то есть гения, которого искал Лермонтов. С Минеральных Вод я поехал поездом, которого не было при Лермонтове, — в Ессентуки, где ждала меня комната на даче «Звездочка» (пошлее не придумали!). Я нанял извозчика — на «Звездочку». Извозчик оказался хохлом.

— Ага, — молвил он, — на Звездочку? — Значит, артист!

На «Звездочке», приехавший до меня, жил критик Александр Константинович Воронский, так же, как и я, приглашенный для культурной революции. Я увидел его через окно, и я крикнул:

— Где здесь живет артист Воронский!?

Мы смеялись, целуясь.

О моих лекциях: мне нечего говорить, тезисы составлял Дюкло, наш правитель, — чтобы эпатировать курортное население. Но там был один тезис: «Разговор с М. Ю. Лермонтовым», — этот тезис предложил я, и я замалчивал его на лекцих. До сих пор я не могу его оформить, потому что он лежит вне слов, — я же очень хорошо знаю, что самое несовершенное в общении людей — слово, слова, — что словами можно

рассказать только промилли того, что чувствуешь, — и чем ответственнее чувствования, тем бессильнее слова. На самолете в небе тогда я думал о Лермонтове, и я хотел написать письмо Михаилу Юрьевичу о его местах. Меня не страшило столетие, ставшее между нами: писатели существуют только тогда, когда они могут бороть время, — пройдет еще сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской литературы — не тем, что Лермонтов описывал пошляков, а я описывал метели революции, — но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, любили, — и писатели знают, что их письма пишутся для черных кабинетов читателя. Я не написал этого письма, не найдя слов для песни, которая спета во мне Лермонто-

вым. В памяти моей остались только отрывки этой песни, сложенные в слова.

— Михаил Юрьевич! — Мне страшна ваша Россия, — полосатоверстая, как каторжный туз, николаевская Россия. Я был в ваших местах. Я следил за бытом ваших героев. Это никак не верно, что вы автобиографичны. Печорин, Грушницкий, капитаны (капитан, предлагавший не заряжать вашего пистолета, — просто мерзавец!), — княгиня Вера, княжна Мэри, ее мамаша — чистокровнейшие пошляки, бездельники, невежды. Умные разговоры Печорина с Вернером — глупы. Печоринская манера подслушивать под окошками — неприлична. Все вертится около скверных романишек, пистолетов и издевательств над человеком, — не хорошо! — Ужели

стоит марать перо о растлителей молодых девушек? — И этот Пятигорск организованной пошлости! . . . — Нет, Михаил Юрьевич, — вы не автобиографичны, — век рассказал мне об этом . . .

Впрочем, Пятигорск жив поныне: сейчас там лечат сифилитиков, с лекциями и под музыку в разных галереях, живых от Лермонтова, — и жив грот, где Печорин встречался с Верой, он назван Лермонтовским и туда ходят писать на стенах похабные слова и собственные имена похабников. Памятник на месте убийства Лермонтова так же изрешечен изречениями о Мане и Зине; так же висят засаленные черкески со страшными газырями, и любители могут, нарядившись в них, сфотографироваться около памятника! — Меня обма-

нула даже природа. Я ждал Кавказа, гор, первобытности, — я увидел холмы, заросшие лесом, куда забираются ослы и автомобили, — причем эти семь-восемь холмов сиротливо торчат среди просторов облупленной степи, и торчат случайностью. Я верю Лермонтову, что сто лет тому назад у Мэри на Подкумке, в июне месяце, закружилась голова от потоков вод этой горной реки: сейчас эту реку в июне — в любом месте перейдет курица. — Мне стыдно перепонтировать героев лермонтовского времени! — Человек всегда пошловат, когда он отдыхает и когда он доволен. Сюда ездят отдыхать и быть довольными. Витии называют курорты фабриками здоровья. Витии печатают лозунги:

«Больные! Сохраняйте бодрое, спокойное настроение духа — это способствует правильному лечению!»

«Питание, выписанное врачом, должно строго соблюдаться!»

«Половое воздержание — всегда безвредно!»

«Распутство и пьянство на курортах завела буржуазия — надо изживать эти пороки, так как они мешают ремонту здоровья!»

Курорты превращены в фабрики здоровья, люди одеты в больничные халаты санаториев, из-под халатов торчат тесемки и из больничных туфель торчат пятки, — и в общественных столовых меню разбито по диетическим рубрикам: — «При поносах», «При запорах», — прочее. — Не может не быть у человека

уважения к земле, к ее недрам, к ее законам; в этих местах из земли бьют целебные ручьи, рожденные вулканами, целебная вода; в первый же день я пошел к источникам, как здесь называются ручьи; источники вделаны в камень; со мною шла толпа халатов и кургузых женских платий, у всех в руках были кружки и стеклянные трубочки; источники, вделанные в камень, назывались бюветами; девушки типа больничных хожалок проворно наливали в кружки воду; кургузы и халаты пили воду через стеклянные трубки, чтобы вода лучше усвоялась желудками, оттопыривали в священнодействии губы и походили на идиотов; я слышал разговоры о пищеварении, прекратились ли газы у Ивана Иваныча; Александр Констан-

тинович Воронский ходил к врачу, чтобы лечиться, — врач сказал: «Конечно, воды очень полезны, но думается, что самая полезная вода — вода обыкновенная». — Я был в диетической, запорно-поносной, столовой только один раз, меню мешало моему желанию есть: Дюкло называл эти столовые — не диетическими, но идиотическими. — В Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске лечат — сифилис в кондиломатозном и гуммозном периодах, полейриты интоксикационные, субацидные и акацидные катары желудка, вагиниты и эрозии, — научные слова! — Больничные храмы величественны, построенные из поддельного мрамора, украшенные символами эллинского здоровья. Я ходил осматривать эти храмы. Я был

в белом халате, за доктора. Меня провожал мой знакомый врач. Я видел очень много издевательств над человеком, учиненных самим же человеком; я был в отделении, где грязью лечат ожиревших женщин; эти голые зеленотелые женщины были издевательством над красотою человека, их животы висели сальными фартуками примерно до колен , раздвоенные пупком, их груди спускались на живот зеленым салом, картошки их задниц были омерзительны; у многих из них были подкрашены губы, — и у всех у них было на лицах обалдение распаренного уважения к целебностям; хожалки приносили ведра горячей грязи, мазали грязью женщин, заворачивали их в простыни, покрывали одеялами, и женщи-

ны лежали в блажном страдании; в клиниках покойствовала торжественность; мой знакомый доктор, — фамилия его никак не Вернер, — выгонял из мужской мочи химические формулы свинца, — это было единственно интересным. Дюкло рассказывал сказку, как мужику плохо жилось, как цыган обещал облегчить его жизнь, велел сначала взять в избу кур, потом телят, потом свинью, затем корову, — мужик стал окончательно задыхаться, — цыган велел вывести тогда — сначала корову, потом свинью, затем телят, — мужик задышал легко и даже согласен был оставаться с курами, — и Дюкло уверен, что принципы местных лечений построены на этой побасенке! — Мне стыдно перепонтировать вас нашими ко-

зырьми, Михаил Юрьевич! — Люди приезжали на поездах убежденными фалангами, убежденно лечились, организованно пищеварили в течение месяца и возвращались — с фабрик здоровья на российские веси — опять-таки организованно, неорганизованно выполняя лишь заветы пиит, местных витий, которые печатали:

«Распутство и пьянство на советских курортах надо выжигать каленым железом!» —

Под заборами этих лозунгов я вспоминал грязелечебных гусынь.

Впрочем, пииты ж писали:

«Театр — отдых и школа, а на курорте, кроме того, — лечебный фактор!»

«Скука мешает правильному лечению!»

«Курортная физкультура — лечебная процедура!»

И по вечерам на курортах было все, — симфонические оркестры, драматические спектакли, оперетта, опера, эстрада, пластические и балетные номера, комики, рыжие, раешники, — и были мы, писатели, на предмет культурной революции, о которой много говорилось в 1928 году.

Михаил Юрьевич! Я перечитал ваше письмо к Лопухиной, вы назвали это письмо «Валериком». Валериком называется — не р е к а, но р е ч к а смерти. На Группах нет теперь никаких боев, там показывают — Лермонтовский грот, Лермонтовскую галерею, Лермонтовские ванны, Лермонтовскую долину, Лермонтовский водопад, — а на месте лермон-

товской смерти — фотографируются в засаленных черкесках с громадными кинжалами.

«. . . жалкий человек . . .

Чего он хочет? . . Небо ясно» . . .

У меня не было более ненужных дней, чем эти мои дни на Группах. И я часто вспоминал вашу речку смерти, Михаил Юрьевич. Впоследствии я прочитал в донесении генерал-адъютанта Граббе о сражении при Валерике, бывшем 11 июля 1840 года, в Ольгин день, — генерал записал о вас:

«. . . офицер этот, не смотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». —

Все нужное, что связано у меня с этими днями, связано с вами, Михаил Юрьевич.

. . . .

Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Это было в июньских числах Печорина, в Кисловодске, в Нижнем парке, около Нарзанной галереи, где некогда ловили печоринских черкесов. Своим человеком я прошел за кулисы, чтобы поздороваться с м-м Жанной. Меня встретил ее муж, человек больших круглых роговых пенсне.

— Очень жаль, что вы будете смотреть Жанну на базаре, — сказал он.

М-м Жанна была в черном, в черном платье с белыми кружевами и высоким

воротником, в черных чулках и в лаковых туфельках. Волосы ее были гладко зачесаны, в ушах блестели старинные серебряные подвески. В руках у нее был белый платок. Глаза ее были девичьи.

— Мы начинаем, — сказал муж, поправив прическу.

Волосы мужа были зачесаны назад за уши, в традициях партикулярных людей начала девятнадцатого века.

Я вышел к зрителям. За большими буквами афиш фотография м-м Жанны не походила на подлинник. На стульях сидели больничные халаты, торчали тесемки подштанников. Свальная белая кепка и милые красные платочки захлопали м-м Жанне, галки на чинарах зашумели крыльями и закаркали. Вспыхнули дополнительные огни софи-

тов, ночь за деревьями стала черней. М-м Жанна вышла с белым платком у губ, этот медиум, она казалась девочкой и лунатиком одновременно, вид ее был прост и таинственен. С курзала донеслись медные трубы оркестра, на вокзале прогудел отходящий поезд. Вслед за м-м Жанной вышел ее муж, во фраке.

— Жанна, будьте внимательней! — крикнул муж тоном циркового наездника.

Муж спустился к рядам, чтобы принимать вопросы. Муж наклонился над критиком из породы «тащи и не пущай», над Леопольдом Авербахом, чтобы выслушать его вопрос. Авербах, посоветовавшись коллективно с драматургом Киршоном, шепотом спросил: когда приедет их друг, прозаик Либединский?

— Жанна, будьте внимательней! Отвечайте, мадемуазель! — крикнул жокейски муж.

М-м Жанна ответила не сразу, она опустила голову, напрягая мысль, и бессильно опустила руки. У нее был звонкий голос, картавый на р.

— Я п'ислушиваюсь . . . я слышу . . . вы сп'ашиваете о вашем д'уге Ю'ие . . . об известном писателе Ю'ие Либединском . . . я вижу . . . он п'иедет, мне кажется, в начале июля . . .

— Дальше, Жанна! Мадемуазель, дальше! — крикнул муж, отошед от Авербаха, наклоняясь над военкомом. — Дальше, мадемуазель, внимательней!

— Я п'ислушиваюсь . . . я вижу . . . вы а'тилле'ист, вы служите в Москве! — м-м Жанна подняла голову, улыбнулась,

заговорила быстро, глаза ее были детские, — вас зовут Исидо' Мейчик, вам двадцать семь лет, номе' вашей па'т-книжки — двадцать две тысячи... серия...

Военком был поражен, он спрашивал, в каком полку он служит, сколько ему лет, номер его партийной, ВКП книжки: м-м Жанна отвечала быстрее, чем он задавал вопросы. Военком сдвинул фуражку на затылок, явно вспотев. Кепки притихли.

— Дальше, Жанна! Скорей! Внимательней! — кричал муж, склоняясь над ответственым работником.

Ответственный работник, в халате, в кепке и в тесемках, спрашивал: изменяет ли ему в Москве жена? Как ее зовут?

— М-м Жанна опустила глаза и руки, вид ее был беспомощен.

— Вашу жену зовут 'евеккой, — сказала она беспомощно и тихо. — Нет, она не изменяет вам, нет . . . она ве'ная жена . . . Но я вижу . . . я п'ислушиваюсь . . . — м-м Жанна сказала совсем тихо и очень печально: — Я вижу, как вы изменяете своей жене . . .

Ряды захохотали. Совработник заерзал на стуле. Галки кричали на чинарах, посвистывал паровоз. Ночь была душна и под скамейками трещали кузнечики. Я недоумевал, вспоминая лермонтовский штосс. Я не мог придумать рационального объяснения этому совершенно метафизическому явлению. Дюкло не слышала вопросов, она отвечала ясновидяще правильно. Люди, задававшие вопро-

сы, были растеряны. М-м Жанна стояла на эстраде девически целомудренно, в черном платье стиля начала прошлого века, усталая женщина, похожая на девочку. Никаких гоголевских «портретов» не было. Была уездная эстрада, открытая, в парке, ротондою. М-м Жанна выступала после пластически-раешных номеров, — ее номер считался ударным, ее выпускали под занавес. У европейцев принято восторги выражать ладошами, — хлопали мало. Шла обыкновеннейшая курортная ночь, когда в одиннадцать надо быть в бараках санаториев. В старину такие номера обставлялись черными комнатами, свечами, таинственностью, шепотом. Люди повалили с рядов бараном, опять потревожив галок. Нарзанная галерея была заперта.

Мы ждали Дюкло, пока они переодевались. М-м Жанна с мужем, профессор Федоровский с женою, писатель Иван Алексеевич Новиков и я — мы пошли в Алла-Верды, в шашлычную, ужинать. М-м Жанна говорила о своей дочке, оставшейся в Москве, и медленно пила кахетинское № 110. — Штосс сведен на эстраду, тресвечие, семисвечие метафизики — упразднено. М-м Жанна была очень утомлена, медленна и обыденна. Ее муж острил. Иван Алексеевич, писатель, чье творчество навсегда пропахло полынью благостных зорь, говорил — о троицыном дне, о белой троицыного дня березке, называя березкою м-м Жанну. Они говорили о девочке Дюкло. — В шашлычной пахло тархуном, бараньим салом, и скрипач наяривал молитву Ша-

миля. Профессор Федоровский строил объяснения номера м-м Жанны. Дюкломуж не открывал секрета, предлагая прийти на разоблачительную — его — лекцию. Штосс Лермонтова, прошед через кулисы эстрады, расцвел для Ивана Алексеевича Новикова — белою троицыного дня березкою. Метафизики больше нет. Всем сердцем я был с Иваном Алексеевичем! —

... Я был в доме, который теперь называется Лермонтовским музеем. Там на стене висит церковная выпись, — поручик Тенгинского пехотного полка, — убит на дуэли, — «погребение пето не было». — Вы не погребены, Михаил Юрьевич, вы — живы! — Ваш домишко, где вы жили со Столыпиным перед смертью, куда привезли ваш труп после

дуэли, — превращен в музей. Я ночевал в этом музее, в вашем кабинете-спальной, где некогда лежал ваш труп. Вы записали, Михаил Юрьевич:

«. . . моя комната наполнилась запахами цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками».

Все это по прежнему, Михаил Юрьевич, по прежнему стоят платаны и скосилась коряга грецких орехов, и в палисаднике цветут цветы. Я сидел за вашим письменным столом, встречая ночь. Пятиглавый, — так называли вы его, — Бештау синел, уходя во мрак. Я был один. Над землей дул ветер, очень сильный, он пахнул степью и качал деревья

в палисаднике. В домишке было глухо и сыровато. Я думал о том, что, если бы мы жили одновременно, мы, вернее всего, не встретились бы, — я был Апфельбаумом. Я говорил с вами через столетье о том, что встретиться нам необходимо, чтобы чокнуться временем сердце о сердце. Я заснул тогда очень поздно, перед сном рассматривая янтари ваших трубок. И ночью я видел вас, во сне. Это было в степной станице, в полку, в новогоднюю ночь, вы держали в руке рог, офицеры безмолвствовали, вы были очень бледны, ваши глаза, всегда тяжелые, были особенно тяжелы, — вы сказали: «Я пью за — за жизнь!» — и кругом были мертвецы, мертвые офицеры, мертвая корчма, ночь, — все было мертво, и на стене блистал император Нико-

лай, живы были только мы. Нам сказали, что нас ждут, мы вышли. Нас ждал самолет, пилот был тот самый, который принес меня из Москвы. — «Через сто лет самолет будет только дилижансом, — сказали вы, Михаил Юрьевич, — но тогда мы найдем другие пути, чтобы брать за сердце жизнь и чтобы чокаться смертями. Впрочем, я знаю, что останется, если будет жизнь, — останутся — смерть, любовь, рождение, рассветы и ветры!» — над степью ревел буран, космы снега заплетали Лермонтова, его папаху, его бурку, сплетая его с космосом. Вопреки стихиям, над буранною степью высился Эльборус. — «Мы летим мериться силами со стихиями!» — крикнули вы, Михаил Юрьевич. — Я проснулся. Был мертвый час ночи. Всеми нер-

вами своими я ощутил, что лежу я в доме, где некогда лежал мертвец Лермонтов. Над домом, за ставнями свистел ветер. Я зажег спичку, закурил, осмотрелся, открыл ставню. Светало. Свистел синий ветер.

Утром я понял, что от Лермонтова в его доме ничего не осталось, кроме чинары и черешен в палисаднике. Пролетарский поэт Тришин, который ныне хранит лермонтовскую усадьбу, сказал мне, что письменный стол, столик у дивана, мундштуки — все это привезено из Петербурга, из дворцовых фондов. Кроме чинар, остались перестроенные стены дома да память о том, как расположены были комнаты при Лермонтове и Столыпине. Полковник Челищев, домохозяин, призывал попа освящать этот

домишко, после того как лежал здесь труп Лермонтова.

Но Тришин сказал мне, что рядом в переулке сохранился дом Верзилиных, ставший впоследствии домом Шан-Гиреев, национализованный в годы революции, — и что в доме живет сейчас Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь Акима Шан-Гирея, друга и двоюродного брата Лермонтова, с которым Михаил Юрьевич вместо возрастал, называя его в письмах Екимом, — дочь Акима Шан-Гирея и Эмилии Александровны Клинкенберг, той, которую по неверному преданию называют княжной Мэри. Я пошел в этот дом. Он отдан в нищету, на дворе сапожничал рабочий. Я встретил Евгению Акимовну, ко мне вышла старушка в темном платье, я знал уже, что

ей семьдесят три года, лицо ее было светло. Время остановилось. Мы заговорили. Мы стояли на террасе, завитой виноградником.

— Тогда этого хода здесь не было, — сказала Евгения Акимовна, — спускались через террасу, и вот здесь, — она указала рукой, — на этом месте Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Лермонтов был злой человек, он не любил людей и всегда издевался над слабостями его окружающих. Мартынов любил порисоваться, одевался черкесом и ходил с засученными рукавами, нося на поясе громадный кинжал . . . Так рассказывала моя мама.

Мы вошли в дом.

— Эта комната была гостиной и танцевали именно здесь. Здесь, — Евгения

Акимовна указала рукой, — здесь стоял диван, а здесь было фортепиано. У нас была вечеринка. Моя мама, Лермонтов и Пушкин, брат поэта, сидели на диване. Мартынов стоял около фортепиано с моей тетей Надеждой Петровной. Лермонтов и Пушкин острили. Князь Трубецкой играл на фортепиано. Трубецкой оборвал аккорд и ясно послышались слова Лермонтова, — „montagnard au grand poignard“, — горец с большим кинжалом, как Лермонтов называл Мартынова. Мартынов был добрый малый, но был позер. У Лермонтова был злой язык, он был недобрый человек. Мартынов побледнел... Все это мне рассказывала мама... Тогда на террасе, на том месте, которое я показывала вам, Мартынов сказал Лермонтову:

«Сколько раз мне просить вас оставить ваши шутки при дамах!» — Лермонтов ответил: «Вместо пустых угроз, ты гораздо лучше бы сделал, если бы действовал!» — и Мартынов вызвал Лермонтова.

Я стоял в комнате, где возникла смерть Лермонтова. Я хотел вглядеться в комнату и в столетие. Комната была невелика и — ныне — нища, давно запыленная временем. Около меня стояла светлая старушка, осколок тех дней. Вещи, когда-то бывшие, исчезли из комнаты, изгнанные нищетой и временем. От наказного атамана кавказских казачьих войск — ничего не осталось. Я искал вещественных памятников.

— Вот это зеркало тогда висело над фортепиано, — сказала Евгения Аки-

мовна и указала рукою. — Вот этот шкаф был тогда с книгами . . .

Мы прошли в комнату, которая была диванной. Некогда в ней жила бабушка, порицавшая Лермонтова. Ныне жила здесь Евгения Акимовна. Вещей от Лермонтова в этом доме — почти не осталось, ничего не осталось от тех дней, дом умрет вместе с Евгенией Акимовной.

Евгения Акимовна принесла и показала мне — серебряный кавказский стаканчик, очень начищенный, позолоченный. На дне стаканчика было выгравировано:

Въ. День. Ангила.
Э. 1840. К.
ВД.

Это был тот самый стаканчик, который подарил Василий Николаевич Ди-

ков Эмилии Александровне Клинкенберг.

— Этот стаканчик маме подарил Диков, когда он был женихом тети Аграфены Петровны и когда мама была еще девушкой, — сказала Евгения Акимовна, — мама говорила, что из этого стаканчика пивал и Михаил Юрьевич.

Я склонился над этим осколком времени, над этой вещью из времени, чтобы заглянуть в век. Я глядел через время. Я видел век, глядя на стаканчик, из которого пили вы, Михаил Юрьевич. Евгения Акимовна была печальна. Угольная комната, некогда диванная, застыла в тишине .

Ныне этот стаканчик у меня.

Евгения Акимовна сказала печально:

— На днях приходили из милиции,

требуют, чтобы мы все выселились отсюда, хотят в этом доме устроить уголовный розыск... Быть может, вы поговорили бы с Луначарским, чтобы этот дом перешел к музею... Хорошо еще, что у нас живут рабочие, которые не хотят этот дом отдавать под уголовный розыск...

Я видел оба века. Я сидел со старушкой, остановившей время. — Уголовный розыск — будет докапываться до уголовных причин смерти Лермонтова!? — Михаил Юрьевич, — это называется — Валериком? — речкой смерти? —

. . . .

...Это был бред...

Мы, люди со «Звездочки», жили звездочетами, потому что ночи у нас начинались рассветами и дни возникали

за полднями. На моей двери были нарисованы одинокие — стул и слезы. Жены через день, по утрам, собирались выезжать из этого сумасшедшего дома, куда актеры возвращались после работы к двум часам ночи и начинали шипеть примусами, садясь до утра за покерное помешательство. У меня примуса не было, — у меня была одна хозяйственная вещь — стакан Василия Дикова. Двери в этом доме никогда не запирались, во многих окнах не хватало стекол, дом был полупуст и в нем, кроме актеров, жили летучие мыши. В саду около дома каждую ночь кричали совы. В грозы в доме протекала крыша, а в тишину слышно было, как бежит вода из испорченных кранов, которые всем лень было закручивать. Тихими часами

были часы от рассвета до полдней. В закаты певцы разучивали арии, музыканты экзерсировались, а драматические актеры доигрывали партии покера, не доигранные за ночь. На визитной карточке комнаты нумер первый было написано: — «кахетинское № 110». Действительно, в моей комнате были только — стол, стул и кровать. Я набил сенник, положил его на террасе, — это было моим диваном, где я валялся днями, в табаке и книгах.

В тот вечер я был в шашлычной. В час я лег спать. В два меня разбудили Дюкло. У них были гости. Светало, и мы разговаривали. Или это был сон? — Когда до солнца осталось полчаса, я пошел к полковнику, ставшему извозчиком, у которого мы брали лошадей. Я

взял коня и поскакал в степь, к горе Шелудивке, навстречу Бештау. Конь шел карьером. Было совершенно светло, и с минуты на минуту должно было возникнуть солнце. Пахло степным рассветом, полынью и конским потом. Мне было чудесно тем восхищением перед миром, которое граничит со смертной тоской, — тем восхищением, от которого мистики молятся, а я мог бы плакать. По степи стали курганы. По долинам шел благостный туман, уничтожавший таинства ночи. Я поскакал к кургану, я поднялся на его вершину. Я слушал храп коня и смотрел на восток. Небо багровело, облака расправляли латы. Я оглянулся на юг, — в синей мгле, в ста верстах от меня, вспыхнула двуглавая шапка Эльборуса, зловещим огнем. Я повернул голо-

ву — и солнце ударило мне в глаза. Конь подо мною заржал, приветствуя утро. Солнце ослепило меня, мои глаза ослепли от слез. Конь помчал дальше в пространства, в степь, к Шелудивке, к просыпающейся станице. В станице я выпил стакан водки с крынкой молока. Тем рассветом я написал, никогда не записанное, письмо Ивану Алексеевичу Новикову — о белой березке троицыного дня и о горькой березовой горечи: род Ивана Алексеевича Новикова древен писателями и пусть, когда мы оба умрем, — пусть будет это, никогда не записанное, письмо вставлено здесь в этот рассказ о вас, Михаил Юрьевич, и о вас, Иван Алексеевич, письмо о березовой горечи счастья! . .

При Лермонтове Ессентуки были пустой казачьей станицей. Печорин записал:

«. . . Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ей руку . . . Я молился, проклинал, плакал, смеялся . . . нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния! . . При возможности потерять ее навеки, она стала для меня доро́же всего на свете — дороже жизни, чести, счастия! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей . . . И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. — И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; раза два он уже споткнулся на ровном месте . . . Осталось пять верст до Ессентуков — казачьей

станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут. Но, вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте он грянулся на землю...

...и долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется...»

Михаил Юрьевич, вы должны были уметь плакать — плакать горчайшими слезами отчаяния!.. Я искал тем рассветом места, где плакал Печорин, и я взъезжал на каждый курган, на эти могилы неизвестностей, чтобы дальше видеть. Дормезы заменены железными дорогами, железные дороги сменятся

аэропутями, — рассветы и слезы — останутся.

Я вернулся в свой дом. Солнце не успело еще загнать в комнаты дня, гнилые ставни были заперты, горело электричество, на столах умирали хлеб и стаканы. В тот день, когда я был в клиниках лечения грязью и видел женское сало, доктор Ахматов рассказал мне о том, чего я не знал, что недавно открыли немцы — о том, что в человеческом организме, оказывается, существуют — два сердца: одно общеизвестно, а другое — его немцы называют периферическим сердцем — другое: самые кончики, самые мельчайшие сосудики артерий, в том месте, где они переходят в вены, где кровь из артериальной становится венозной, — эти сосудики вооружены нер-

вами и мышцами, — эти нервы и мышцы помогают большому сердцу, — миллионы этих нервинок и мышчинок составляют периферическое сердце... — Мы останавливали ночь гнилыми ставнями. Со мною сотворилось странное. Я сидел рядом с Дюкло-мужем, м-м Жанна не слышала наших разговоров: и она стала отвечать мне, читая мои мысли. История художника Лугина повторялась со мною. Возникал лермонтовский штосс. День был остановлен гнилыми ставнями. Я был слишком пьян рассветом, чтобы четко соображать. Дюкло-муж склонился надо мною, он весело крикнул, расхохотавшись:

— Борис Андреевич, — крикнул он, — мы весело разыграли вас! Выслушайте, на чем построен наш номер. Вы зна-

ете, что такое стенография, — представьте себе — звукографию. Я говорю Жанне, — «мадемуазель, будьте внимательней!» — вы слышите только это, но вибрацией голоса, ударениями на звуки, придыханием, тем, как звуки я растягиваю, — я передаю ей: «Борис Андреевич пьян и бредит Лермонтовым, которого, будто бы, он караулил сейчас около Шелудивки!» —

Я распахнул широко гнилые ставни.

. . . .

Михаил Юрьевич! — штосс Жанны Дюкло не есть даже фокус, это просто упорный труд и очень музыкальные уши. — Михаил Юрьевич, — Иван Алексеевич Новиков утверждал березовую горечь троицыного дня Жанны Дюкло, — ужели чудесная березовая го-

речь Жанны Гоммер де-Гэлль не была горечью троицыного дня!?

...М-м Жанна Гоммер де-Гэлль... Впрочем, в селе Подмоклове, Подольского уезда Московской губернии, в церкви, на картине страшного суда — помещены вы, Михаил Юрьевич, в числе горящих в огне великих грешников, — вы, Михаил Юрьевич, чьи предки в Шотландии — один в одиннадцатом веке дрался с Макбетом, а другой в тринадцатом — был бардом, заколдованным царством фей и воспетым Вальтером Скоттом. Вы написали вашему другу Лопухину:
«...смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего

не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера» . . .

Да, Михаил Юрьевич, — это трагическое России — полицеймейстер слева! и я прав, мы наверное не встретились бы с вами — из-за полицеймейстера. И вы не увидали бы, как не увидали Жанну Гоммер де-Гэлль, — Жанны Дюкло, березовой горечи вашего штосса. Михаил Юрьевич, — тогда, в новогоднюю ночь сорок первого года, когда вы пили за смерть, вы не дорассказали историю титулярного советника Штосса, — вы ставили на карту жизнь ради своих видений, которые были выше жизни, вы понтировали на жизнь — и титулярный советник Штосс играл с вами на клюнгеры!

И позвольте мне рассказать вам о м-м Гоммер де-Гэлль.

Я уже делал выписки из донесений генерал-адъютанта Граббе, —

«офицер этот, не смотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством». —

В наградном списке, написанном Раковичем, значится:

«Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии выстрела от опушки. При переправе через Аргунь он действовал отлично... и поражал неоднократно собственною рукою хищников».

За степями, за лесами, на севере, в Санкт-Петербурге — за плечами Лермонтова, на плечах Лермонтова — стоял всероссийский император Николай, его величество, уничтожавшее Кавказ, когда горцы в приказах не назывались иначе как хищники, дикари и сброд. — Михаил Юрьевич, пятого ноября вы расстались с Жанною Гоммер де-Гэлль. Вы вернулись на фронт в свой полк, — а мадам Гоммер де-Гэлль, на яхте французского посольства, под французским флагом, ушла в море, в бирюзу морских волн, в просторы моря, чтобы — —

чтобы — —

...от Жанны де-Гэлль остались пожелтевшие листки:

«Тэбу уехал, не простившись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и от-

правился на Кавказ стреляться с Лермонтовым. На четвертый день я увидела яхту на рейде. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не уехал и будет у меня с объяснением, все же, что ни говори, возмутительного своего поступка в биллиардном павильоне, когда он так скомпрометировал меня в глазах Тэбу. Он пришел. Я простилась с моим поэтом на станции, слушала и задыхалась. Я долго оставалась в раздумьи, пока я слышала звон его колокольчика, и затем поспешила сесть на катер, доставивший меня на яхту . . .

. . . в ночь перевезли на яхту четырнадцать ящиков с двумя стами карабинов, разной мелочью для подарков, порохом, моими туалетами и двумя горными пушками, все это под печатями английского

консульства. Я их везу в подарок князю адигеев, — кроме моих парижских туалетов, разумеется, которые обвораживали моего кавкаазского Прометея. Мне ужасно жаль поэта. Ему не сдобровать. А я целых две пушки везу его врагам. Если одна из них убьет его, я тут же сойду с ума» . . .

— — чтобы прийти, сокрыто от глаз императора Николая, к бирюзе кавказских берегов, — чтобы подняться в горы к военачальникам тех племен, которых воспевали вы, Михаил Юрьевич, и которых — вы же, офицер Михаил Юрьевич, — уничтожали, — потому что эти люди отстаивали естественное свое право жить и не быть холуями императора Николая. Люди в горах встречали Жанну Гоммер де-Гэлль — всем благородст-

вом, которое вы знаете у кавказских племен. Вожди кланялись ей, этой солнечной женщине. — Михаил Юрьевич, Жанна Гоммер де-Гэлль привезла на своей шхуне, по сини моря — своим горным друзьям — пушки, ружья, свинец и порох, — тот свинец и тот порох, которыми кавказцы отстреливались от вас, офицер Михаил Юрьевич. Она, эта солнечная женщина, л ю б и л а вас, Михаил Юрьевич, поэта и человека, любила вас так, как никто не любил, — потому что она была — н е русской. Вы не знали этого, Михаил Юрьевич, — вы играли р у с с к у ю п а р т и ю. Вы не знали, что те пули, которые посылали вам, в вас, чеченцы, — эти пули дала чеченцам женщина, любившая вас. Вы не написа-

ли романа м-м Жанны Гоммер де-Гэлль, вы, брат Байрона.

Я знаю — —

. . . Жанна Гоммер де-Гэлль так описывала Тэбу, генерального консула: «. . . Тэбу в самом деле смешон; он ходит с утра в светло-синем фраке, со жгутом и с одним эполетом и золотыми с якорями пуговицами, в белом жилете и предлинных шпорах (хотя он на лошади и без шпор держаться не умеет) и в нанковых, несмотря на осень, панталонах. Костюм его совершенно напоминает Людовика XVIII блаженной памяти. Он очень смешон, особенно когда вальсирует или галопирует и садится на минуту, весь впопыхах. Он, кажется, лечится от воображаемого жира и танцует бо-

лее для моциона. Он страдает закрытым геморроем» . . .

Михаил Юрьевич, вы дурачили этого фламандского лавласа. Вы заставили его в дожде дураком бегать вокруг биллиардного павильона, около вашей русской партии в любовь, когда чудесности были в ваших руках. И дурак стал рыскать за вами, чтобы вызвать вас. Вы проводили Жанну на его судно, отдали ее фламандцу . . .

Я знаю: если бы не было этой ссоры с дураком, эта женщина, любившая вас, эта солнечная женщина унесла бы вас на пути своей шхуны, вы были бы с нею в морях, вы, брат Байрона, — вы отдали б вашу жизнь вашей поэзии, вашим демонам, — и ваша жизнь была бы чудеснейшей человеческой поэмой. Ваши-

ми плечами вы подпирали бы ваших демонов, вашу поэзию, но не императора!.. Жанна Гоммер де-Гэлль ушла от вас в лазурь синих морей, она записала о вас: «Мне жаль его, он дурно кончит. Он не для России рожден». Она была права, ваш штосс раскрыт Жанной Дюкло, Печориным я перепонтирую вас, вы, не знали березовой горечи троицыного дня Ивана Алексеевича Новикова, — причем, оказывается, Жанну Гоммер де-Гэлль совершенно не следовало выигрывать штоссом Жанны Дюкло.

. . . .

На севере, за степями, за лесами — лежала в болотах — великая! — Россия.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь
блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом . . .
Что же мне так больно и так
трудно:
Жду ль чего? Жалею ли о чем?»

Солнце уходило в облака, и облака горели красным закатом. Закат насту-

пал медленно и упорно. Синяя тень от Бештау легла далеко в степь. Машук немотствовал. Зеленый лес не шумел. Прокричала в лесу сова, уже по-осеннему. И опять была тишина, и умирал закат.

На земле валялась фуражка пехотного офицера, с красным околышем, с высокою белою тульей, фуражка лежала вниз тульей и в ней были вишни. Так эта фуражка и осталась лежать здесь, ночь и рассвет, пока не приехала наутро следственная — «по делу стреляния между поручиком Лермонтовым и отставным майором Мартыновым» — комиссия. Эта комиссия подобрала фуражку. Эта же комиссия описала в протоколе своем «место стреляния», как сказано в протоколе.

«. . . место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне горы Машухи, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в Немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины горы Машухи до ее подошвы, а по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машухи» . . .

Лермонтов был убит: на дороге.

Солнце зацепилось за Бештау, озолотило его вершины. Прохлада ночи повеяла с Машука. Тучи собирались зловеще. Этот человек, в кавалерийских рейтузах и в красной рубашке, тот, фуражку которого подняли наутро, приехал первым к месту дуэли, и приехал один. И он долго лежал на земле, лицом к не-

бу. Он глядел на умирающий закат и на тучи, которые собирались грозой. В картуз он положил вишен, но он не ел их.

«Что же мне так больно и так трудно:

Жду ль чего? Жалею ли о чем?» . . .

И в тот час, когда солнце зацепилось за Бештау, когда Лермонтов увидел — с этой проезжей в немецкую колонию дороги — увидел последний раз золото солнца на вершине Бештау, — в тот час приехали к месту бойни — блестящие офицеры: князья Васильчиков и Трубецкой, Алексей Аркадьевич Столыпин, гвардеец Глебов и — отставной майор Николай Соломонович Мартынов. Они приехали все вместе: Лермонтов был один. Мартынов был громоздок и красив, должно быть, как Николай I, если бы Николай отпустил бороду, предвос-

хитив своего внука. Мартынов приехал убивать человека в черкесском белом бешмете, рукава бешмета были засучены, гозыри блестели серебром. Мартынов в бешмете походил на полосатый верстовой столб. Руки из-за засученных рукавов походили на руки мясника. Это был человек очень немногих движений, потому что он проверял каждый свой жест, чтобы каждый жест был непременно красив.

Все было очень просто.

Васильчиков и Глебов отмерили тридцать шагов, десять шагов, еще десять и еще десять: каждому по десяти шагов, чтобы идти к смерти, десять шагов мертвого пространства. Глебов передал пистолеты Лермонтову и Мартынову. Секунданты отошли в сторону, смот-

реть, как будут убивать. За Машуком прогремел гром, вдалеке, затрепетали без ветра листья. Васильчиков скомандовал:

— Сходитесь!

Ворот красной лермонтовской рубашки был расстегнут, его рейтузы были измазаны землей, и желтый дубовый лист, оторвавшийся от ветки родимой, трепетал, зацепившись за голенище сапога. В горсти Лермонтова были вишни. Лермонтов взвел курок пистолета и взял пистолет под мышку, чтобы освободить руку для вишен. — Мартынов был торжественен. Человек немногих движений, он торжественно двинулся с места, с левой ноги, пятки вместе, мыски врозь. Он торжественно поднял пистолет, по всем правилам дуэлянтов. Он выстре-

лил. Лермонтов упал. Мартынов торжественно пошел в сторону, опустив дымящийся пистолет. Лермонтов упал с горстью вишен в руке и с пистолетом под мышкой. Лермонтов был мертв. В груди, в правом боку, дымилась рана, из левого текла кровь, — пуля прошла насквозь. Новый прогремел над Машуком гром, налетел ветер, стемнело сразу, свинцовые тучи застлали небо, полил дождь. Солнце ушло за землю. Глаза мертвеца были открыты и были — мертвы. Дождь смочил волосы мертвеца, и белая прядь на лбу, которую так любила гладить м-м Гоммер де-Гэлль, выбилась из прически, завилась. Труп лежал на колее дороги.

Князь Васильчиков тогда поскакал в Пятигорск — за лекарем. Черный мрак

пал на землю. Дождь лил и лил из-за Машука. Лекаря отказались ехать на место дуэли — по такой погоде, и требовали — или протокола, или приказа — полицейских. И тогда в город поехали Столыпин и Глебов — за извозчиком, чтобы перевезти труп. И опять гремели громы и перекатывалось эхо в горах, и рвались молнии, — и труп валялся на грязи дороги под дождем, молнии блестели над ним и гремели громы. Извозчики в городе последовали лекарям. И только к полночи приехали полицейские дроги. Офицеры подошли к трупу, чтобы оттащить его в сторону от колеи, они поволокли его, — и мертвец тогда вздохнул, спертый воздух со свистом выступил из груди: Лермонтов вздохнул очень печально, очень глубоко и — облегчен-

но. Мертвеца взвалили на дроги, прикрыли полицейской шинелью и повезли в город. Фуражка на земле осталась до утра коротать ночь, — а кровь осталась на земле — навсегда. И всю ночь рвалось небо молниями, и стонал лес, и метался ветер, и кричали совы.

...«Погребение пето не было»...

. . . .

Усадьба Знаменское лежит под сердцем России, в тридцати верстах от Москвы, — и лежит в Черногрязинской волости, родовая подмосковная.

Шли годы. Мимо усадьбы пролегла железная дорога. Вокруг усадьбы задымили заводы. Усадьба, ее парки, ее пруды, река Клязьма под горою, дом с колоннами, с мезонином и с часами на бельведере, конный двор, службы — ос-

тановили время. В залах этого дома стала тишина. В залах этого дома висели родовые портреты. В кабинете хозяина этого дома — на письменном столе стоял портрет, один-единственный, небольшой, темный, сделанный масляными красками, неизвестного художника, — портрет Лермонтова. Лермонтов положил голову на руки и смотрел вперед — очень пристально, очень тяжелыми глазами. В этом доме нельзя было говорить: о нем. Кабинет был пуст. Хозяин дома дни свои проводил в этом кабинете, никогда не появлялся на людях. За окнами осыпались листья и зеленели вновь, шли дожди и падали снега. В этом доме никогда не смеялись. Пало крепостное право, строились железные дороги и заводы, в 1871 году, в тридца-

тилетие убийства Лермонтова, по всей России, по императорскому указу, собирались деньги на памятник Лермонтову. Последние двадцать пять лет жизни хозяин дома выходил из своей усадьбы только раз в году — 15 июля. В дни около 15 июля хозяин дома совершенно замолкал. В этот же день — никто его не видел; полями, по бездорожью, он ходил на соседний заштатный погост князей Мышецких — и там служил — заупокойную обедню: о рабе Божием Михаиле. Дома в этот день он не выходил из своего кабинета, его никто не видел, и он сидел перед портретом е г о. О н положил голову на руки и смотрел вперед. В этой усадьбе никогда не говорили — о н е м. Дороги к усадьбе заросли лебедой.

Николай Соломонович Мартынов умер в родовой постели с 14-го на 15-е декабря 1875 года, через тридцать четыре года после дуэли. В завещании своем он наказал никаких надписей не делать на его могильном камне, даже имени, — дабы имя его было стерто песком времени.

Погребение пето — было.

Углич,
22 авг. 1928.